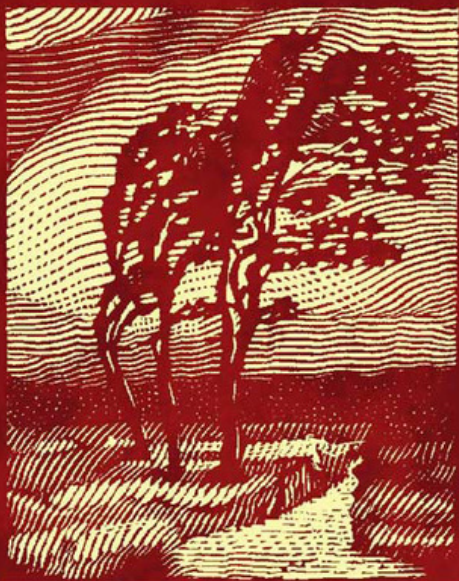


Б.А.Чичибабин



ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Борис Алексеевич Чичибабин

Прямая речь (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9487071

Прямая речь / Борис Чичибабин: Фолио; Харьков; 2008

ISBN 978-966-03-4049-7

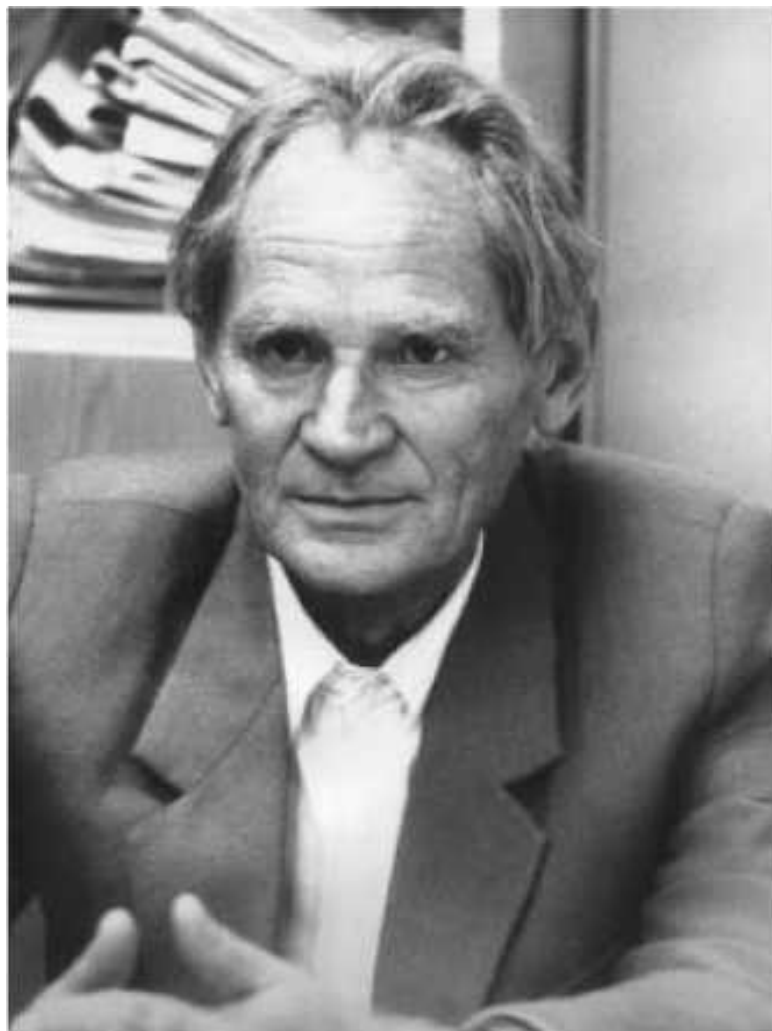
Аннотация

Внимание читателей предлагаются стихотворения выдающегося поэта XX века Бориса Чичибабина, человека, жившего всеми болями и надеждами своего народа. Его поэзия – своеобразный портрет эпохи, а в стихах порою мудрости больше, чем в иных философских трактатах.

Содержание

1946–1950	6
«Кончусь, останусь жив ли...»	6
Махорка	8
Еврейскому народу	10
Смутное время	12
Битва	14
1951–1955	16
Родной язык	16
Дождик	20
«И нам, мечтателям, дано...»	22
Яблоня	23
1957–1960	25
«Уже картошка выкопана...»	25
Клянусь на знамени веселом	26
«До гроба страсти не избуду...»	29
«Поэт – что малое дитя...»	31
1961–1965	33
«Когда весь жар, весь холод был изведен...»	33
Белые кувшинки	35
Крымские прогулки	37
«Во мне проснулось сердце эллина...»	43
Черное море	46
Пастернаку	49

«И опять – тишина, тишина, тишина...»	52
«На мой порог зима пришла...»	54
Паруса	57
Вечером с полочки	58
Постель	59
Осень	60
Старик-кладовщик	61
Ода русской водке	62
Верблюды	65
«Я слишком долго начинался...»	67
Конец ознакомительного фрагмента.	70



Борис Чичибабин

Прямая речь

1946–1950

«Кончусь, останусь жив ли...»

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...

Красные помидоры
кушайте без меня.

1946

Махорка

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся сигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жметя и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска —
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.

Один их тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.

1946

Еврейскому народу

Был бы я моложе – не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю», —
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.
Помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны, —
муки гетто, коль не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа – цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов, —
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала

Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, —
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

1946

Смутное время

По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга – шпыни да шиши.

А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травой черной
беспризорные поля.

На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
Трубит матушка Сибирь.

На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.

Льнет к полячке русский рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..

Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря...

Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.

То ли к завтраму, быть может,
воцарится новый тать...
И никто нам не поможет.
И не надо помогать.

1947

Битва

В ночном, горячем, спутанном лесу,
где хмурый хмель, смола и паутина,
вбирая в ноздри беглую красу,
летят самцы на брачный поединок.

И вот, чертя смертельные круги,
хрипя и пенясь чувственную бурей,
рога в рога ударятся враги,
и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.

И будет битва, яростью равна,
шатать стволы, гореть в огромных ранах.
И будет ждать, покорная, она,
дрожа душой за одного из равных...

В поэзии, как в свадебном лесу,
но только тех, кто цельностью означен,
земные страсти весело несут
в большую жизнь — к паденьям и удачам.

Ну, вот и я сквозь заросли искусств
несусь по строфам шумным и росистым
на милый зов, на роковой искус —
с великолепным недругом сразиться.

1951–1955

Родной язык

1

Дымом Севера овит,
не знаток я чуждых грамот.
То ли дело – в уши грянет
наш певучий алфавит.
В нем шептать лесным соблазнам,
терпким рекам рокотать.
Я свечусь, как благодать,
каждой буковкой обласкан
на родном языке.

У меня – такой уклон:
я на юге – россиянин,
а под северным сияньем
сразу делаюсь хохлом.
Но в отлучке или дома,
слышь, поют издалека
для меня, для дурака,

трубы, звезды и солома
на родном языке?

Чуть заре зарозовесть,
я, смеясь, с окошка свешусь
и вдохну земную свежесть —
расцветающий рассвет.
Люди, здравствуйте! И птицы!
И машины! И леса!
И заводов корпуса!
И заветные страницы
на родном языке.

2

Слаще снящихся музык,
гулче воздуха над лугом,
с детской зыбки был мне другом —
жизнь моя – родной язык.

Где мы с ним ни ночевали,
где ни перли напрямик!
Он к ушам моим приник
на горячем сеновале.

То смолист, а то медов,

то буйн, то нежным самым
растекался по лесам он,
пел на тысячу ладов.

Звонкий дух земли родимой,
богатырь и балагур!
А солдатский перекур!
А уральская рябина!..

Не сычи и не картавь,
перекрикивай лавины,
о ветрами полевыми
опаленная гортань!..

Сторонюсь людей ученых,
мне простые по душе.
В нашем нижнем этаже —
общезитие девчонок.

Ох и бойкий же народ,
эти чертовы простушки!
Заведут свои частушки —
кожу дрожью продерет.

Я с душою захромавшей
рад до счастья подстеречь
их непуганую речь —
шепот солнышка с ромашкой.

Милый, дерзкий, как и встарь,
мой смеющийся, открытый,
розовеющий от прыти,
расцелованный словарь...

Походил я по России,
понаслышался чудес.
Это – с детства, это – здесь
песни душу мне пронзили.

Полный смеха и любви,
поработав до устатку,
ставлю вольную палатку,
спорю с добрыми людьми.

Так живу, веселый путник,
простодушный ветеран,
и со мной по вечерам
говорят Толстой и Пушкин
на родном языке.

1951

Дождик

День за днем жара такая все —
задыхайся и казнь.

Я и ждать уже закаялся.

Вдруг откуда ни возьмись

с неба сахарными каплями
брызнул, добрый на почин,
на неполитые яблони,
огороды и бахчи.

Разошлась погодка знатная,
спохмела тряхнув мошной,
и заладил суток на двое
теплый, дробный, обложной.

Словно кто его просеивал
и отрушивал с решет.
Наблюдать во всей красе его
было людям хорошо.

Стали дали все позатканы,
и, от счастья просияв,
каждый видел: над посадками —
светлых капель кисея.

Не нарадуюсь на дождик.
Капай, лейся, бормочи!
Хочешь – пей его с ладошек,
хочешь – голову мочи.

Миллион прозрачных радуг,
хмурый праздник озарив,
расцветает между грядок
и пускает пузыри.

Нивы, пастбища, леса ли
стали рады, что мокры,
в теплых лужах заплясали
скоморохи-комары.

Лепестки раскрыло сердце,
вышло солнце на лужок —
и поет, как в дальнем детстве,
милой родины рожок.

1954

«И нам, мечтателям, дано...»

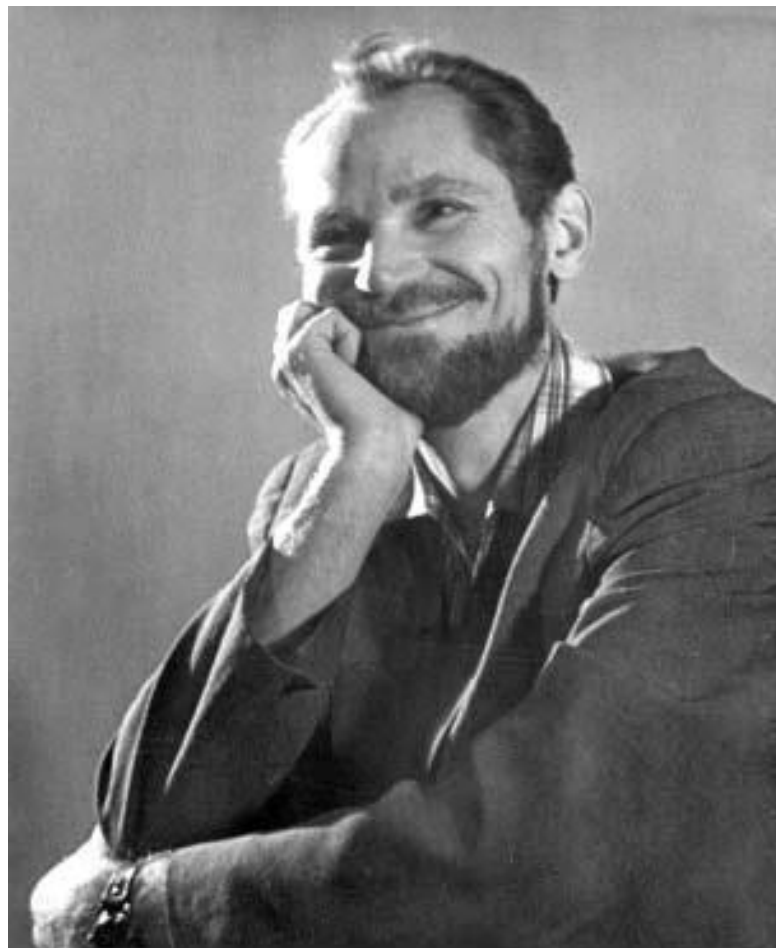
И нам, мечтателям, дано,
на склоне лет в иное канув,
перебродившее вино
тянуть из солнечных стаканов,
в объятьях дружеских стихий
служить мечте неугасимой,
ценить старинные стихи
и нянчить собственного сына.
И над росистой травой,
между редисок и фасолей,
звенеть прозрачную строфой,
наивной, мудрой и веселой.

1952

Яблоня

Чем ты пахнешь, яблоня —
золотые волосы?
Дождевыми каплями,
тишиною по лесу,
снегом нарастающим,
чем-то милым сызмала,
дорогим, нечаянным,
так, что сердце стиснуло,
небесами осени,
тополями в рубище,
теплыми колосьями
на ладони любящей.

1954



Борис Чичибабин. 1963 г.

1957–1960

«Уже картошка выкопана...»

Уже картошка выкопана,
и, чуда не суля,
в холодных зорях выкупана
промокшая земля.

Шуршит тропинка плюшевая:
весь сад от листьев рыж.
А ветер, гнезда струшивая,
скрежещет жестью крыш.

Крепки под утро заморозки,
под вечер сух снежок.
Зато глаза мои резки
и дышится свежо.

И тишина, и ясность...
Ну, словом, чем не рай?
Кому-нибудь и я снюсь
в такие вечера.

Клянусь на знамени веселом

Однако радоваться рано —
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север, —
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, —
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, —

не умер Сталин.

И не по старой ли привычке
невежды стали наготове —
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?

У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков, —
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадь не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

«До гроба страсти не избуду...»

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах —
мой дух возвращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был не шелков,
когда давился пшенной кашей

или махал пустой кошелкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылезит волос
и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,
И все-таки я есмь поэт...

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаимправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.

1960

«Поэт – что малое дитя...»

Поэт – что малое дитя.
Он верит женщинам и соснам,
и стих, написанный шутя,
как жизнь, священ и неосознан.

То громыхает, как пророк,
а то дурачится, как клоун.
Бог весть, зачем и для кого он,
пойдет ли будущему впрок.

Как сон, от быта отрешен,
и кто прочтет и чем навеян?
У древней тайны вдохновенья
напрасно спрашивать резон.

Но перед тем как сесть за стол
и прежде чем стихам начаться,
я твердо ведаю, за что
меня не жалует начальство.

Я б не сложил и пары слов,
когда б судьбы мирской горнило
моих висков не опалило,
души моей не потрясло.

1960

1961–1965

«Когда весь жар, весь холод был изведен...»

Когда весь жар, весь холод был изведен,
и я не ждал, не помнил ничего,
лишь ты одна коснулась звонким светом
моих дорог и мрака моего.

В чужой огонь шагнула без опаски
и принесла мне пряные дары.
С тех пор иду за песнями запястий,
где все слова значимы и добры.

Моей пустыни холод соловьиный,
и вечный жар обветренных могил,
и небо пусть опустятся с повинной
к твоим ногам, прохладным и нагим.

Побудь еще раз в россыпи сирени,
чтоб темный луч упал на сарафан,
и чтоб глаза от радости сырели,
и шмель звенел, и хмель озоровал.

На свете нет весны неизносимой:
в палящий зной поляжет, порыжев,
умрут стихи, осыплются осины,
а мы с тобой навеки в барыше.

Кто, как не ты, тоску мою утешит,
когда, листву мешая и шумя,
щемящий ветер борозды расчешет
и затрещит роса, как чешуя?

Я не замерзну в холоде декабрьском
и не состарюсь в темном терему,
всем гулом сердца, всем моим дикарством
влюбленно верен свету твоему.

1961

Белые кувшинки

Что за беда, что ты продрог и вымок?
Средь мошкары, лягушечьих ужимок
протри глаза и в прелести омой,
нет ничего прекраснее кувшинок,
плавучих, белых, блещущих кувшинок.
Они – как символ лирики самой.

Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,
для всех, кто любит, чашами стоят.
А там, на дне, – не думали уже б мы, —
там смрадный мрак, пиявок черных яд.

На душном дне рождается краса их
для всех, а не для избранных натур.
Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,
кувшинки ждут, вкушая темноту.

О, как горюют, царственные цацы,
как ужас им дыханье заволок,
в какой тоске сподыспода стучатся
стеблями рук в стеклянный потолок!

Из черноты, пузырчатой и вязкой,
из тьмы и тины, женственно-белы,
восходят ввысь над холодом и ряской.

И звезды пьют из белой пиалы.

1961

Крымские прогулки

Колонизаторам – крышка!
Что языки чесать?

Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины...
Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.
Я ничего не жег.
Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.

А более иное
мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.

Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?

Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?
Люди на пляж, я – с пляжа,
там, у лесов и скал,
«Где же татары?» – спрашивал,
все я татар искал.

Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, – кричал, – татары?»
Нет никаких татар.
А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.

Не русская Ривьера,
а древняя Орда
жила, в Аллаха верила,
лепила города.
Кому-то, зная, мешая
зарей во всю щеку,

была сестра меньшая
Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров...

Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.
Это не при Иване,
это не при Петре:
сами, небось, припевали:
«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли,
ни очага, ни сакли.
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена, —
и на земле татарской
ни одного татарина.

Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом Севере
косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой, —
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.
Сидит начальство важное:
«Дай, – думает, – повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.

Теперь, хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолви, —
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня – не политика.
У меня – этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты ни жалости.

Умершим – не подняться,
не добудиться умерших...
но чтоб целую нацию —
это ж надо додуматься...

А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.

А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.
Когда ж ты родишься,
в огне трепещи,
новый Радищев —
гнев и печаль?

«Во мне проснулось сердце эллина...»

Во мне проснулось сердце эллина.
Я вижу сосны, жаб, ежа
и радуюсь, что роща зелена
и что вода в пруду свежа.

Не называйте неудачником.
Я всем удачам предпочел
сбежать с дорожным чемоданчиком
в страну травы, в отчизну пчел.

Люблю мальчишек, закопавшихся
в песок на теплом берегу,
и – каюсь – каждую купальщицу
в нескромных взорах берегу.

Благословенны дни безделия
с подругой доброй средь дубрав,
когда мы оба, как бестелые,
лежим, весь бор в себя вобрав.

Мы ездили на хутор Коробов,
на кручи солнца, в край лесов.
Он весь звенел от шурких шорохов
и соловьиных голосов.

Мы ничего с тобой не нажили,
привыкли к всяческой беде.
Но эти чащи были нашими,
мы в них стояли, обалдев.

Уху варили, чушь пороли,
ловили с лодки щук-раззяв
и ночевали на пароме,
травы на бревна набросав.

О, если б кто в ладонях любящих
сумел до старости донести
в кувшинках, в камышовых трубочках
до дна светящийся Донец!..

Плескалась рыба, бились хвостики.
Реки и леса красота,
казалось, вся в пахучем воздухе
с росой и светом разлита.

Скорей, любимая, приблизься.
Я этот мир тебе дарю.
Я в нем любил лесные листья
и славил зелень и зарю.

Счастливым, брошусь под деревья.
Да в их дыханье обрету
к земле высокое доверье,
гармонию и доброту.

1961

Черное море

Лишь закрою глаза —
и, как челн, меня море качает,
и садится на губы
нагая и теплая соль.
Не отцовством объят,
а от солнца я пьян и от чаек.
О, как часто мне снится
соленый и плещущий сон!

Дразнит прозу мою,
брызжет в раны веселый обидчик,
чья за мутью и зеленью
так изумительна синь.
То ли хлопья летят,
то ли птицы хлопочут о пище, —
то порхают барашки,
которых вовек не сносить.

Ну о чем бормотать?
Ну какого рожна кипятиться?
Я горю на огне.
Я – роса. Я ничем не гнетусь.
Я лежу на рядне.
Породниться бы нам, кипарисы!
Солнце плавит плоды

и колышет в ладонях медуз.

Разверзаются недра,
что вечно свежи и не дряблы.
Ходят нежные негры.
Здесь камень до ночи нагрет.
Пахнет йодом и рыбой.
И екает сердце над рябью,
где хохочущий повар
готовит чертям винегрет.

Отоспимся потом.
До потемок позябнем от зыби.
По ночам оно дышит,
как скинувший бурку джигит.
Море хлюпает в мол.
Море мокрые камешки сыплет.
Им никто не насытится.
Море и мертвых живит.

И смывает всю муть.
И смеется светло и ломяще.
И прозрачно слоится.
А может и скалы молоть.
И возьму я с собой
в свой последний отъезд из Ламанчи
вместо хлеба и книги
лохматой лазури ломоть.

Пастернаку

Твой лоб, как у статуи, бел,
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.

И сетую, слез не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты, у трех сосен зарыт,
не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных...

А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода
любим и наивен.

И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
– Не может быть злой человек
хорошим поэтом...

Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,
храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,

где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.

О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?

Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,
не кончив похода...
Какая пора на дворе,
какая погода!..

Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.

1962

«И опять – тишина, тишина, тишина...»

И опять – тишина, тишина, тишина.
Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий.
Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена,
И почиет пчела на моем подбородке.

Я блаженствую молча. Никто не придет.
Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная.

Все, что вижу вокруг, беспредельно любя,
как я рад, как печально и горестно рад я,
что могу хоть на миг отдохнуть от себя,
полежать на траве с нераскрытой тетрадью.

Это самое лучшее, что мне дано:
так лежать без движений, без жажды,
без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.

И не страшно душе – хорошо и легко
слиться с листьями леса, с растительным

СОКОМ,
с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.

1948–1950, 1962

«На мой порог зима пришла...»

На мой порог зима пришла,
в окошко потное подула.
Я стыну зябко и сутуло,
грущу – и грусть моя грешна.

И то ли счастье, то ли сон
на мой порог, как снег, упали,
и пахнет милыми губами
мое горящее лицо.

Я жарюсь в чертовых печах.
(Как раз за лириков взяли там!)
Я нищетой до дыр залистан.
О, не читай меня, печаль.

Ты ж, юность, смейся и шали,
с кем хочешь будь, что хочешь делай.
Метелью праздничной и белой
во мне шумят твои шаги.

Душе и сладко, и темно,
ей не уйти и не остаться, —
и трубы трепетные счастья
по-птичьи плачут надо мной.



Слева направо:
Ф.Кривин, Б.Ладензон, Б.Чичибабин.
Харьков. Начало 70-х.

Паруса

Есть в старых парусах душа живая.
Я с детства верил вольным парусам.
Их океан окатывал, вздувая,
и звонкий ветер ими потрясал.

Я сны ребячьи видеть перестал
и, постепенно сердцем остывая,
стал в ту же масть, что двор и мостовая,
сказать по-русски – крышка парусам.

Иду домой, а дома нынче – стирка.
Душа моя состарилась и стихла.
Тропа моя полынью поросла.

Мои шаги устали и неловки,
и на простой хозяйственной веревке
тряпьем намокшим сохнут паруса.

1962

Вечером с полочки

Придет черед, и я пойду с сумой.
Настанет срок, и я дойду до ручки.
Но дважды в месяц летом и зимой
мне было счастье вечером с полочки.

Я набирал по лавкам что получше,
я брился, как пижон, и, бог ты мой,
с каким я видом шествовал домой,
неся покупки вечером с полочки.

С весной в душе, с весельем на губах
идешь-бредешь, а на пути – кабак.
Зайдешь – и все продуеть до полушки.

Давно темно, выходишь, пьяный в дым,
и по пустому городу один —
под фонарями, вечером, с полочки.

1962

Постель

Постель – костер, но жар ее священной:
на ней любить, на ней околевать,
на ней, чем тела яростней свеченье,
душе темней о Боге горевать.

У лжи ночной кто не бывал в ученье?
Мне все равно – тахта или кровать.
Но нет нигде звезды моей вечерней,
чтоб с ней глаза не стыдно открывать.

Меня постель казенная шерстила.
А есть любовь черней, чем у Шекспира.
А есть бессониц белых канитель.

На свете счастья – ровно кот заплакал,
и, ох, как часто люди, как на плаху,
кладут себя в постылую постель.

1963

Осень

О синева осеннего бесстыдства,
когда под ветром, желтым и косым,
приходит время помнить и постыться
и чад ночей душе невыносим.

Смолкает свет, закатами косим.
Любви – не быть, и небу – не беситься.
Грустят леса без бархата, без ситца,
и холодеют локти у осин.

Взывай к рассудку, никни от печали,
душа – красotka с зябкими плечами.
Давно ль была, как птица, весела?

Но синева отравлена трагизмом,
и пахнут чем-то горьким и прокислым
хмельным-хмельные вечера.

1963

Старик-кладовщик

Старик-добряк работает в райскладе.
Он тих лицом, он горестей лишен.
Он с нашим злом в таинственном разладе
весь погружен в певучий полусон.

Должно быть, есть же старому резон,
забыв лета и не забавы ради,
расколыхав серебряные пряди,
брести в пыли с гремучим колесом.

Ему – в одышке, в оспе ли, в мещанстве —
кричат людишки: «Господи, вмешайся!
Да будет мир избавлен и прощен!»

А старичок в ответ на эту речь их
твердит в слезах: «Да разве я тюремщик?
Мне всех вас жаль. Да я-то тут при чем?»

Ода русской водке

Поля неведомых планет
души славянской не пленят,
но кто почел, что водка яд,
таким у нас пощады нет.
На самом деле ж водка – дар
для всех трудящихся людей,
и был веселый чародей,
кто это дело отгадал.

Когда б не нес ее ко рту,
то я б давно зачах и слег.
О, где мне взять достойный слог,
дабы воспеть сию бурду?
Хрустален, терпок и терпим
ее процеженный настой.
У синя моря Лев Толстой
ее по молодости пил.

Под Емельяном конь икал,
шарахаясь от вольных толп.
Кто в русской водке знает толк,
тот не пригубит коньяка.
Сие народное питье
развязывает языки,
и наши думы высоки,

когда мы тјапаем ее.

Нас бражный дух не укачал,
нам эта влага по зубам,
предоставляя финь-шампань
начальникам и стукачам.
Им не узнать вовек того
невосполнимого тепла,
когда над скудостью стола
воспрянет светлое питво.

Любое горе отлегло,
обидам русским грош цена,
когда заплещется она
сквозь запотевшее стекло.
А кто с вралями заодно,
смотри, чтоб в глотку не влили:
при ней отпетые врали
проговорятся все равно.

Вот тем она и хороша,
что с ней не всяк дружить горазд.
Сам Разин дул ее не раз,
полки боярские круша.
С Есениным в иные дни
история была такая ж —
и, коль на нас ты намекаешь,
мы тоже Разину сродни.

И тот бессовестный кашей,
кто на нее повысил цену,
но баять нам на эту тему
не подобает вообще.

Мы все когда-нибудь подохнем,
быть может, трезвость и мудра, —
а Бог наш – Пушкин – пил с утра
и пить советовал потомкам.

1963

Верблюд

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнет – и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее волюют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит.
Его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него – от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, —
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.

Его удел – ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есть моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

1964

«Я слишком долго начинался...»

Я слишком долго начинался
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса,
неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям моим неведом,
враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков
землянин с люлечки пленен.
Рассвет рассудка одинаков
у всех народов и племен.

Но я с мальчишества наметил
прожить не в прибыльную пруть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

И кровь и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

Уже листва уходит с веток
в последний гибельный полет,
а мною сложенных и спетых —
никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о камень,
и сам согбен, как аксакал.
Меня молодые поколенья
опередили, обскакав.

Не счесть пророков и провидцев,
что ни кликуша, то и тип,
а мне к заветному пробиться б,
до сокровенного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,
что я бурбон и нелюдим,
и весь мой пот, и весь мой опыт
пойдет не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,
моих святынь не видно им,
и не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса.
Со мной ни брата, ни отца.
Я слишком долго начинался.
Мне страшно скорого конца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.